Игорь Джерри КУРАС

* * *

Бывало, проспишь остановку и в Стрельну уедешь, проснешься — и вот, как дурак, на поезд обратный перроном метельным плетешься, а поезд не едет никак. Какое же это нелепое чувство, когда принимаешь ошибку свою в башке неприютно, тоскливо и пусто: «Там ждут меня дома, а я здесь стою». И снег образует такое пространство, где только твои на платформе следы где все по порядку названия станций знакомых остались давно позади. Порой, просыпаясь, я чувствую то же и вижу чужого жилья фонари; морозец тогда пробегает по коже: проехал, проехал — вот черт побери! Нащупав очки в темноте прикроватной, по комнате ходишь тогда, как дурак, и ждешь на платформе свой поезд обратный, а поезд не едет, не едет никак.

* * *

Возвратиться в свои палестины, прокатиться туда-обратно; запах яблока и апельсина в грубой тумбочке прикроватной. Запах детства, превью сиротства с бородой непременно ватной, где настенных газет уродства; коридоры, углы, палаты. Вот березка, а с ней рябина, да над речкой висят ракиты: те же яблоки-апельсины позабытые — не забыты.

Игорь Джерри Курас — поэт и прозаик, редактор поэзии в литературно-художественном журнале «Этажи». Родился в Ленинграде в 1963 году. Автор пяти поэтических сборников, книги сказок для взрослых «Сказки Штопмана» и книги для детей «Этот страшный интернет». Лауреат премии журнала «Техtura» по прозе (2019), лауреат премии журнала «Сура» по поэзии (2019). Живет в Бостоне.

4 / *Проза и поэзия*

Здесь погосты весной, как грядки: посмотри, ни одной оградки надо ж так заиграться в прятки, чтоб исчезнуть совсем, ребятки. Это яблоки и апельсины не противься, не бейся, сдайся: возвратиться в свои палестины не получится, не пытайся. То березка, а то рябина то опять над рекой ракита; все струится моя тропинка позабытая — не забыта. Только память плодит плаксиво эхом спятившим — многократно: запах яблока и апельсина в грубой тумбочке прикроватной.

* * *

А было так: конверты с марками — листки с ошибками, помарками: неровным почерком, спеша — в них буква *т*, как буква *т*. И тихо бабушка листочками шуршала, и очки над строчками держала, чтобы разглядеть.

Авоська, в кошелечке медь.

Там, по-соседски, все простецкие; снимали дачу в Сестрорецке мы все лето. И блестел залив — пусть мелок, но не суетлив, И всюду пахло керосинками, грибными тертыми корзинками, укропом сонным и листом смородины с ее кустом.

На берегу другого времени всегда на ощупь, будто в темени, сквозь пальцы пропустив песок, я вспомнил то, что вспомнить смог. И суетливым полуночником я сам себе служу подстрочником, уже давно — который год — в попытке сделать перевод.

УЧИТЕЛЬ

Памяти С. Б. Н.

Бывает, читаешь маститого автора — и вот вспоминаешь у станции «Автово» невзрачную комнату и коридор. Хозяин был строг и ревниво недобр ко мне. Он листки моих текстов обкуривал и щурился долго, читая, и — дурень я — боялся его шевелящихся губ. Хозяин был строг и презрительно груб, когда, дочитав, очень медленно, медленно от первого звука до звука последнего — от первой строки до последней строки он жег папиросок своих маяки.

И шел я угрюмо на станцию «Автово», и осень, листвою невзрачной упав тогда, меня провожала, и первый снежок мне щеки горячие медленно жег. И медленно, медленно — очень мучительно — я пил, как лекарство, презренье учителя: с тех пор папиросок его огоньки горят для меня, как в ночи маяки. Бывает, читаешь маститого автора — и вот вспоминаешь у станции «Автово» невзрачную комнату, дым папирос — и трудную почву, в которой пророс.

* * *

Ты не любишь, когда я пытаюсь рассказывать сны: потому что они происходят со мной без тебя, но сегодня я видел во сне: на заливах лесных облака, отраженные рябью, о ком-то скорбят. Я ведь тоже скорблю. Я и сам в облаках потерял неуклюжую лодку, пустой деревянный причал и суровое слово, что было началом начал, и того, кто в заливах лесных с этим словом звучал.

И тогда, не поверишь, виденье Тучкова моста мне явилось внезапно (такое бывает во сне) и лицо незнакомки (как будто художник у ста чьих-то лиц взял черты — и составил в единое мне).

Эта женщина тоже пыталась в заливах лесных отыскать свою лодку, пустой деревянный причал... Ты не любишь, когда я пытаюсь рассказывать сны, но поверь, я ее никогда-никогда не встречал.

И торчала повсюду высокой осокой трава, может, так, как бывает во сне — может быть, неспроста; и тащился куда-то последний — без окон — трамвай вдоль Тучкова моста, моя боль. Вдоль Тучкова моста.

* * *

Вдруг вспомнится: проснешься на Свечном, и пахнет чем-то сладким и аптечным; с виолончельным вогнутым смычком дед в шароварах возится над вечным. А вечного в избытке на Свечном, слова созвучны: в навсегда ночном пространстве ленинградском вдоволь боли — что музыка? шестнадцатые доли, отсчитанные капли перед сном, на шароварах след от канифоли.

О, вдоволь боли! Вдовы всех мастей снуют во все концы по коридору. Дед мастерит концерт из трех частей, бормочет что-то в ноты без разбору. Пространство ленинградское в ночном прислушается: где-то на Свечном виолончель препятствует раздору. И миротворец в мире сволочном — где пахнет стиркой, склокой, «Беломором», где вдовы подпирают мир плечом — блаженный устремился в вечность взором с наивным си-бемолем под ключом.

* * *

Когда-нибудь, когда провизор бестолковый уже не сможет мне лекарство истолочь, верни обратно звуки улицы Садовой, и дух еловый декабря, и снег, и ночь. Тогда Апраксин весь растянется, как тесто: когтистый, вцепится, раскроется во мне. И, как в трамвае, будет радостно и тесно в моей бессмысленной садовой голове.

* * *

Не потому ли написал поэт о том, что в Петербурге неба нет, что сам пытался высь нащупать слепо? Но можно ли оставить в небе след, когда летишь на отраженный свет, когда летаешь в городе без неба?

Ростральные колонны будто в смерть уходят вверх, где тяжесть или твердь уже не находя, стоят — не спорьте — как без фронтона сиротливый портик: хоть шапку потеряй — на что смотреть? Я видел это — и не буду впредь.

Мне очевиден правильный ответ: без неба не найдет себя поэт, хоть тыщу раз перетасуй колоду, хоть помолись Растрелли или Клодту — поэт без неба, как анахорет: живет для неба, только неба нет.

Летать по небу — невеликий грех: распластан в небе ястреб или стерх — подвластно все желанью демиурга. Я замираю, вспоминая тех, кто век из века устремлялся вверх, создав в полете небо Петербурга.